

Виктор Платонович

Некрасов

Кому это нужно?

Несколько дней тому назад я проводил во Францию Владимира Максимова, хорошего писателя и человека нелёгкой судьбы. А до этого проводил большого своего друга — поэта Коржавина. А до него Андрея Синявского. Уехали композитор Андрей Волконский, кинорежиссёр Михаил Калик, математик Александр Есенин-Вольпин. И многие другие — писатели, художники, поэты, просто друзья. А Солженицына выдворили — слово-то какое нашли! — у Даля его, например, нет — словно барин работника со двора прогнал.

Уехали, уезжают, уедут... Поневоле задумываешься. Почему? Почему уезжают умные, талантливые, серьёзные люди, люди, которым непросто было принять такое решение, люди, которые любят свою родину и ох как будут тосковать по ней? Почему это происходит?

Задумываешься... И невольно, подводя какие-то итоги, задумываешься и о своей судьбе... И хотя судьба эта твоя, а не чья-либо другая, это всё же судьба человека, родившегося в России, всю или почти всю свою жизнь прожившего в ней, учившегося, работавшего, воевавшего за неё — и не на самом лёгком участке, — имевшего три дырки в теле от немецких осколков и пуль. Таких много. Тысячи, десятки тысяч. И я один из них...

Почему же, подводя на 63-м году своей жизни эти самые итоги, я испытываю чувство непроходящей горечи?

Постараюсь по мере возможности быть кратким.

Случилось так, что в 35 лет я неожиданно для себя и для всех стал писателем. Причём сразу известным. Возможно, нескромно так говорить о себе, но это было именно так. Первая моя книга «В окопах Сталинграда», которую вначале немало и поругивали, после

присуждения ей премии стала многократно издаваться и переиздаваться. Потом появились и другие книги. Их тоже и ругали, и хвалили, но издавали и переиздавали. И мне стало казаться, что я приношу какую-то пользу. Свидетельство этому — 120 изданий на более чем 30 языках мира.

Так длилось до 8 марта 1963 года, когда с высокой трибуны Никита Сергеевич Хрущёв подверг, как у нас говорится, жесточайшей критике мои очерки «По обе стороны океана» и выразил сомнение в уместности моего пребывания в партии. С его лёгкой руки меня стали клеймить позором с трибун пониже, на собраниях, в газетах, завели персональное партийное дело и вынесли строгий выговор за то, что в Америке я увидел не только трущобы и очереди безработных за похлёбкой. Само собой разумеется, печатать меня перестали.

Падение Хрущёва кое-что изменило в моей судьбе. Оказалось, что в Америке есть кое-что, что можно и похвалить, и злополучные очерки вышли отдельной книжкой. На какое-то время передо мной открылся шлагбаум в литературу, пока в 1969 году опять не закрылся — я подписал коллективное письмо в связи с процессом украинского литератора Черновола и позволил себе выступить в день 25-летия расстрела евреев в Бабьем Яру.

Заведено было второе персональное дело, закончившееся вторым строгим выговором, и, наконец, почти без передыха, в 1972 году родилось третье партийное дело. На этот раз без всякого уже повода — за старые, как говорится, грехи — опять подписанное письмо, опять Бабий Яр... Тут уже из партии исключили. Как сказано было в решении: «...за то, что позволил себе

иметь собственное мнение, не совпадающее с линией партии».

Так отпраздновал я — чуть ли не день в день — тридцатилетие своего пребывания в партии, в которую вступал в Сталинграде, на Мамаевом кургане, в разгар боёв.

С тех пор я как писатель, то есть как человек, не только пишуший, но и печатающийся, перестал существовать. Рассыпан был набор в журнале «Новый мир», запрещено издание двухтомника моих произведений в издательстве «Художественная литература», изъяты из всех сборников критические статьи, посвящённые моему творчеству, выпали мои рассказы из юбилейных сборников об Отечественной войне, прекращено производство кинофильма по моему сценарию о Киеве. Одним словом, не получай я 120 рублей пенсии, пришлось бы задумываться не только о творческих своих делах.

За десять лет три персональных дела — это значит по три-четыре, а то и шесть месяцев разговоров с партследователями, объяснений в парткомиссиях, выслушивания всяческих обвинений против тебя (а в последнем случае просто клевета и грязь)... Не слишком ли это много?

Оказывается, не только не много, но даже мало.

17 января сего 1974 года девять человек, предъявив соответствующий на это ордер со всеми подписями, в течение 42 часов (с перерывом, правда, на ночь) произвели в моей квартире обыск. Нужно отдать должное, времена меняются — они были вежливы, но настойчивы. Они говорили мне «извините» и рылись в частной моей переписке. Они спрашивали «разрешите?»

и снимали со стен картины. Без зуботычин и без матерных слов они обыскивали всех проходящих. А женщин вежливо приглашали в ванную, и специально вызванная сотрудница КГБ (какая деликатность, ведь могли бы и сами!) раздевала их донага и заставляла приседать, и заглядывала в уши, и ощупывала причёски. И всё это делалось обстоятельно и серьёзно, как будто это не квартира писателя, а шпионская явка.

К концу вторых суток они всё поставили на место, но увезли с собой семь мешков рукописей, книг, журналов, газет, писем, фотографий, пишущую машинку, магнитофон с кассетами, два фотоаппарата и даже три ножа — два охотничьих и один мамин, хирургический. Правда, два из семи мешков были заполнены журналами «Пари-матч», «Лайф» и «Обсервер», и часть вещей уже возвратили (в том числе и ножи, поняв, очевидно, что я никого резать не собирался), но основное: мои черновые, даже не перепечатанные на машинке рукописи до сих пор изучаются.

В ордере на обыск сказано, что он производится у меня как у свидетеля по делу № 62. Что это за дело, мне до сих пор не известно, кто по этому делу обвиняется — тоже тайна. Но по этому же делу у пятерых моих друзей в тот же день были произведены обыски, а трое были подвергнуты допросу. На одного из них, коммуниста-писателя, заведено персональное партийное дело. Всех их в основном расспрашивали обо мне. Что же касается меня самого, то я после обыска шесть дней подряд вызывался на допрос в КГБ к следователю по особо важным делам.

Как сказано было в том же ордере, цель обыска — «обнаружение литературы антисоветского и

клеветнического содержания». На основании этого у меня были изъяты, кроме моих рукописей, книги Зайцева, Шмелёва, Цветаевой, Бердяева, «Один день Ивана Денисовича» на итальянском языке (на русском не взяли), однотомник Пушкина на языке иврит (вернули), «Житие преподобного Серафима Саровского» (вернули), «Скотный двор» Оруэлла оставили себе, немецкие и украинские газеты периода Сталинградской битвы, ну, и упомянутые «Пари-матчи», которые вернули, но не все, какие-то, в частности, номер, посвящённый Хрущёву (октябрь 1964), показались предосудительными.

Кто может дать точное определение понятию «антисоветский»?

В своё время антисоветскими были такие писатели, как Бабель, Зощенко, Ахматова, Булгаков, Мандельштам, Бунин — сейчас же их издают и переиздают, хотя и не злоупотребляют размерами тиражей.

Ну, а речь, допустим, ныне здравствующего Вячеслава Михайловича Молотова на сессии Верховного Совета в октябре 1939 года — как надо рассматривать: как про- или антисоветскую? А ведь он в ней, переосмысливая понятие агрессии, говорил, что воевать против гитлеризма нельзя, так как война с идеей (гитлеризм — это идея!) — абсурд и преступление. Если бы нашли, например, у меня газету с этой речью — её изъяли бы или нет?

А речи Берии? Его биографию с громадным портретом в Большой Советской Энциклопедии подписчикам рекомендовали вырезать, а вместо неё прислали страничку про Берингово море. А миллионы погибших при Сталине — это что, советские или антисоветские действия? Кто ответит за это?

Итак, затрудняясь дать точное определение понятию «антисоветский», я понимаю, что фашистская газета остаётся фашистской газетой, но архив писателя — это всё же архив писателя. Он для работы, он и просто собрание интересующих писателя по тем или иным причинам вещей. Утверждаю, не боясь ошибиться, что архивы таких писателей, как Максим Горький, Алексей Толстой или Александр Фадеев, по количеству так называемой «клеветнической» литературы во многом превосходят мой. Не ошибусь, если скажу, что и у многих ныне здравствующих и занимающих положение писателей подобных материалов не меньше, а может быть, и побольше, чем у меня. Но ни обысков у них не проводят, ни допросам не подвергают.

Обыск — это высшая степень недоверия государства к своему гражданину. Допрос — это обидная и оскорбительная (при всей внешней вежливости) форма выпытывания у тебя, зачем и для чего ты хранишь ту или иную книгу, то или иное письмо. И вот я задаю себе вопрос: с какой целью это делается? Запугать, утратить, унижить? Впрочем, куда унижительнее рыться в чужих письмах, чем смотреть, как в них роются люди, получающие за это зарплату, и немалую, и считающие, что, увозя из библиотеки писателя стихи Марины Цветаевой, принесли государству пользу. Кому всё это выгодно? Кому это нужно? Неужели государству? А может, думают, что, популав, пригрозив, принудят на какие-то шаги?

Во многих инстанциях — а сколько у меня их было, и высоких, и пониже, и всесильных, и послабее! — мне говорили (кто строго, кто с улыбкой), что давно пора сказать народу, по какую сторону баррикад я нахожусь. Как сказать? И подсказывали. Кто попрямее, кто более

окольными путями, что вот, дескать, есть газеты, а в газету люди — и какие люди! пишут письма. А вы что же?

И вот тут мне остаётся только удивляться. Неужели кто-либо мог серьёзно подумать, что порядочный человек может позволить себе включиться в этот позорный поток брани, который вылился на голову двух достойнейших людей нашей страны — Сахарова и Солженицына? Неужели такой ценой зарабатывается право работать и печататься? А ведь вам, уважаемый товарищ, говорили мне во всех инстанциях, с улыбкой или без улыбки, надо писать и писать. Читатель ждёт не дожждётся, всё в ваших руках...

И я могу ответить. Прямо и не лукавя. Нет, пусть лучше уж читатель обойдётся без моих книг, он поймёт, почему их не видно. Он, читатель, ждёт. Но не пасквилей, не клеветы, он ждёт правды. Я никогда не унижу своего читателя ложью. Мой читатель знает, что я писал иногда лучше, иногда хуже, но, говоря словами Твардовского, «...случалось, врал для смеха, никогда не лгал для лжи».

Но тут же сразу возникает другой вопрос. И куда посложнее. Писатель может не печататься, но не может не писать, не может молчать. Это его обязанность, это его долг. Но как его выполнить, когда в любую минуту вежливые люди с ордером могут к тебе войти и неостывшие листы того, что ты пишешь, забрать и унести?

У меня унесли недописанную ещё работу — небольшую, но очень важную для меня — о Бабьем Яре, о трагедии сорок первого года, о том, как сровняли после войны с берегами овраг глубиной сорок метров, замыли его и чуть не забыли, а потом на месте расстрела

поставили скромный камень, а памятника до сих пор нет; о том, как приходят туда люди с венками, цветами каждый год 29 сентября и какие события там происходят.

И вот рукопись унесли и альбом с моими фотографиями Бабьего Яра на всех этапах его замывания тоже унесли. И плёнку тоже... Вернут ли? Не знаю... Рукопись я восстановлю. Опять придут, опять заберут. И так что же? До скончания века? А плёнку? Сожгут?

Вот я и подошёл к концу невесёлых своих размышлений и подведения каких-то итогов. А друзья уезжают. И я их не отговариваю, хотя знаю, что у каждого есть своя (а может быть, у всех общая?) причина на столь решительный и, может быть, даже трагический шаг. Не отговариваю, хотя каждый из уехавших друзей — это отщипнутый от сердца кусочек. И не только твоего сердца, но и сердца России. Не отговариваю, а просто вытираю слезу. И задумываюсь. Очень крепко задумываюсь...

Кому это нужно? Стране? Государству? Народу? Не слишком ли щедро разбрасываемся мы людьми, которыми должны гордиться? Стали достоянием чужих культур художник Шагал, композитор Стравинский, авиаконструктор Сикорский, писатель Набоков. С кем же мы останемся? Ведь следователи из КГБ не напишут нам ни книг, ни картин, ни симфоний.

А насчёт баррикад... Я на баррикадах никогда не сражался, но в окопах, и очень мелких, неполного профиля, сидел. И довольно долго. Я сражался за свою страну, за народ, за неизвестного мне мальчика Витю. Я надеялся, что Витя станет музыкантом, поэтом или просто человеком. Но не за то я сражался, чтобы этот выросший мальчик пришёл ко мне с орденом, рылся в

архивах, обыскивал проходящих и учил меня патриотизму на свой лад.

Москва. 5 марта 1974 г.